

Б. Н. ТИХОМИРОВ

К ВОПРОСУ О «ПРОТОТИПАХ ОБРАЗА ИДЕИ» В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО

Развивая концепцию Б. М. Энгельгардта о своеобразии романа Достоевского как романа идеологического, в котором идея функционирует в совершенно особом качестве, являясь «не принципом изображения (как во всяком романе), не лейтмотивом изображения и не выводом из него (как в идейном, философском романе), а предметом изображения»,¹ М. М. Бахтин высказал глубокое суждение о «прототипах образов идей» в творчестве Достоевского: «Как художник, Достоевский не создавал своих идей так, как создают их философы или ученые, — он создавал живые образы идей, пайденных, услышанных, иногда угаданных в самой действительности, то есть идей, уже живущих или входящих в жизнь как идеи-силы (...) Поэтому для образов идей в романах Достоевского, как и для образов его героев, можно найти и указать определенные прототипы». Иллюстрируя этот тезис, Бахтин обращается за примером (в ряду других) к роману «Преступление и наказание»: «Так, например, прототипами идей Раскольникова были (...) идеи Наполеона III, развитые им в книге „История Юлия Цезаря“ (1865)».²

Выдвинув оригинальное и методологически плодотворное положение, Бахтин в то же время, с целью сделать его доказательнее и нагляднее, использует в качестве примера наблюдения и выводы других исследователей, разрабатывавших вопрос с существенно иных теоретических позиций (в частности, отсылает читателей к статье Ф. Евнина³). В результате готовый пример не столько раскрывает тезис Бахтина, сколько, напротив, сужает его, не позволяя выявить своеобразие и сложность реальных взаимоотношений «образа идеи» в романе Достоевского и его жизненных прототипов. Сказать, что концепция Наполеона III явилась прототипом (или одним из прототипов) идеи Раскольникова, с нашей точки зрения, значит не решить, а только поставить проблему. И глубокая теоретическая разработка самим Бахтиным вопроса

¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 28.

² Там же. С. 103, 104.

³ Евнин Ф. И. Роман «Преступление и наказание» // Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959. С. 153—157.

о «прототипах образов идей» показывает, что это действительно так, ибо наблюдения и выводы исследователей, на которых ссылается Бахтин,⁴ и в малой степени не отражают намеченной им картины особого «художественного бытия» идей-прототипов в мире романов Достоевского.

Рассмотрим бахтинскую концепцию полифонического романа в этой ее части несколько подробнее. «Как художник, — пишет Бахтин, — Достоевский в образе той или иной идеи раскрывал не только ее исторически-действительные черты, наличные в прототипе (например, в «Истории Юлия Цезаря» Наполеона III), но и ее возможности (...) Как художник Достоевский часто угадывал, как при определенных изменившихся условиях будет развиваться и действовать данная идея, в каких неожиданных и направлениях может пойти ее дальнейшее развитие и трансформация». Это замечание проясняет тот особый характер, который приобретают в творчестве Достоевского отношения между «живым образом идеи» и его жизненным прототипом. «Достоевский, — продолжает Бахтин, — вовсе не копировал и не излагал эти прототипы, а свободно-творчески перерабатывал их в живые художественные образы идей (...) Он прежде всего разрушал замкнутую монологическую форму идей-прототипов и включал их в большой диалог своих романов, где они и начинали жить новой событийной художественной жизнью».⁵ При таком подходе, когда реальный прототип понимается лишь как отправная точка художественного бытия идеи в произведении, ее, образно говоря, «жизнь до жизни», внимание исследователя должно быть обращено не только на точки сближения, переклички «образа идеи» и его прототипа, но и на их различие. Больше того, если понять связь образа и прототипа идеи как диалектическое единство сходства и различия, то уяснение меры, характера этого различия становится путем постижения собственно художественных открытий Достоевского. Пример из «Преступления и наказания» оказывается здесь крайне выразительным.

По необходимости отвлекаясь от всей многосложности «художественного бытия» идеи Раскольникова в романе, от того, что эта идея «живет в непрерывном диалогическом взаимодействии с другими полноценными идеями — идеями Сони, Порфирия, Свидригайлова и других»,⁶ т. е. в любой отдельно взятый момент не

⁴ Наряду с «Историей Юлия Цезаря» Бахтин здесь же называет трактат М. Штирнера «Единственный и его собственность». Ряд предполагаемых «идейных источников» теории Раскольникова указан в комментариях к роману в Полн. собр. соч. (см.: 7, 337—340, 380 и др.). Рассматривая в настоящей статье вопрос о «прототипах образов идей» в романах Достоевского преимущественно в теоретическом аспекте, не останавливаясь на критическом анализе иных возможных прототипов «идей» Раскольникова. Это предмет другого исследования, для которого, однако, здесь закладываются принципиальные основы.

⁵ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 104.

⁶ Там же. С. 98.

равна сама себе и не может быть исчерпывающе сформулирована как монологический тезис, — остановимся на эпизоде первой встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем, где читатель впервые знакомится с философскими взглядами героя. Именно в этом эпизоде главным образом находят аргументы исследователи, сближающие теорию Раскольникова и доктрину Луи Наполеона.

В чем состоит философско-историческая основа всех построений Раскольникова, его, как он сам считает, «главная мысль» (6, 200)? В том, что «люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: «обыкновенных» и «необыкновенных», «законодателей и установителей человечества», которые «двигают мир и ведут его к цели» (6, 199—201). Предположим, что этот центральный пункт теории Раскольникова если и не восходит в буквальном смысле слова к концепции Наполеона III, то по крайней мере как-то с ней связан, представляется вполне обоснованным, особенно если учесть, что в 1865 г. «История Юлия Цезаря» была злобой дня и о ней на протяжении нескольких месяцев писали все европейские и русские газеты и журналы. Показательно, например, что само название великих исторических деятелей «необыкновенными» встречаем уже на первых страницах авторского «Предисловия» к «Истории Юлия Цезаря»,⁷ где Луи Наполеон так формулирует поставленную перед собой цель: «доказать, что, посылая таких людей, как Цезарь, Карл Великий, Наполеон, Провидение призывает их начертать народам путь, которым они должны следовать, запечатлеть своим гением новую эру...». Заметим кстати, что сравнение с концепцией Наполеона III в свою очередь позволяет лучше увидеть провиденциальный характер раскольниковской философии истории (в том варианте, как герой излагает ее в беседе с Порфирием Петровичем).

Но уже здесь, в этом же пункте о роли «необыкновенных» личностей в истории, образ и прототип — Раскольников и Луи Наполеон расходятся «капитально»: сам «механизм» исторического движения человечества мыслится ими существенно по-разному. И хотя после сказанного сам по себе факт обнаружения различий не вступает в противоречие с нашим исходным тезисом, но расхождение героя Достоевского и Наполеона III в этом пункте настолько серьезно, что это заставляет уже в начале анализа выйти за его первоначальные рамки и привлечь к рассмотрению новые данные — очевидные для современников «Преступления и наказания», но ускользнувшие от внимания последующих исследователей.

Дело в том, что Наполеон III вовсе не был основоположником идеи об исключительной роли «необыкновенных» личностей в истории. Уже первые русские рецензенты «Истории Юлия Цезаря» писали о ее авторе как об одном из «всей этой фаланги историков», «во главе которой стоит Карлейль».⁸ Такое сближение истори-

⁷ Текст «Предисловия» здесь и в дальнейшем дается по первой русской публикации: С.-Пб. ведомости. 1865. 19 февр. № 43.

⁸ Современник. 1865. № 2. С. 319; ср.: С.-Пб. ведомости. 1865. 1 марта. № 53.

ческой концепции Луи Наполеона и Т. Карлейля с его «культом героев», являющихся единственными действительными творцами истории, представляется вполне обоснованным (по крайней мере внешне): Наполеон заимствует у знаменитого английского историка и центральный тезис, и ряд аргументов, и некоторые приемы ведения полемики. Однако для нашего исследования гораздо важнее сейчас подчеркнуть не близость, а существенное расхождение автора «Истории Юлия Цезаря» с Т. Карлейлем в ряде важных исходных установок; в частности, как раз в вопросе о закономерностях исторического процесса, т. е. в том пункте, в котором расходятся позиции Луи Наполеона и Родиона Раскольникова.

Провиденциальное истолкование исторического прогресса в книге Наполеона III сочетается с жестким детерминизмом. Уже в первых строках «Предисловия» сформулирована задача историка: изображать различные фазисы истории, «отыскивая в предшествовавших событиях их настоящее происхождение и их естественный вывод». Объясняя не только успех деятельности «великих», но и само их появление в тот или иной исторический момент, автор «Истории Юлия Цезаря» апеллирует к логике, законам развития человеческого общества, видя историческую необходимость появления Цезаря в «новых нуждах и интересах деятельного общества». «Искра производит большой пожар только в случае, если она попадет на заранее скученные воспламеняющиеся вещества» — эта метафора Луи Наполеона как нельзя лучше выражает его точку зрения на характер деятельности «великих» в истории.

Т. Карлейль, напротив, по определению современного исследователя, «превращал историю в царство случайностей».⁹ Действительно, он буквально ополчается против «критиков», которые принимают «объяснять» великих творцов истории, видя в них «произведение своего времени», говоря, что их «вызвало время». «Жалкие усилия! — восклицает Карлейль. — Время вызвало?.. Мы, к несчастью, знали времена, которые громко звали своего великого человека; но, несмотря на зов свой, — не нашли его! Его тогда не было; Провидение не послало его — и время, несмотря на свой громкий, отчаянный зов, — должно было погибнуть в смутах и крушении».¹⁰ Эти слова написаны более чем за 15 лет до появления книги Наполеона III, но воспринимаются как прямо направленные против ее автора, пафос которого действительно в том, что «великих» «вызвало время». В истолковании «механизма» исторического прогресса Луи Наполеон идет уже не столько от Карлейля, сколько от просветителей, в частности Монтескье, которого неоднократно цитирует в своей книге, в то время как английский историк ведет с просветительской философией непримиримую борьбу. Как мы увидим в дальнейшем, венценосный автор «Истории Юлия

⁹ Неманов И. Н. Субъективистско-идеалистическая сущность воззрений Т. Карлейля на историю общества // Вопр. ист. 1956. № 4. С. 148.

¹⁰ Карлейль Т. О героях и героическом в истории // Современник. 1855. № 10. С. 103 (2-й pag.).

Цезаря» преследовал при этом уже не философские, а политические, точнее — политиканские цели.

Как же предстает «механизм» исторического движения человечества в теории Раскольникова? Прежде всего, «необыкновенная» личность как протагонист истории здесь вполне свободна и автономна в своей деятельности, никак не связана какой-либо исторической закономерностью. По существу, она сама — единственная историческая закономерность. История, по Раскольникову, дискретна: один «закон», одно состояние мира сменяет другое немотивированно, «вдруг», по логике чуда — лишь в результате появления («пришествия») «необыкновенных» личностей, «имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*» (6, 200). И в этом его идея, как следует из всего сказанного, гораздо в большей степени, чем доктрине Наполеона III, родственна учению Т. Карлейля, который так заканчивает процитированный выше пассаж: «Нет, если мы хорошенько размыслим, то увидим, что ни одно время не гило бы, если б находило своего великого, мудрого и мужественного человека!». ¹¹ И еще из Карлейля: «Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно!». ¹²

Представляется, что в этом «вдруг» кроется главная притягательность для Раскольникова его исторической концепции. «Идея, писал В. И. Ленин, — есть познание и стремление (хотение) человека». ¹³ Расхождение идей Наполеона III и Раскольникова в понимании «механизма» исторического прогресса ни в коем случае не является умозрительным, лежащим исключительно в философской плоскости; оно определяется в первую очередь противоположностью их «стремлений», их социально-политических позиций. Пером автора «Истории Юлия Цезаря» двигало стремление узурпатора сохранить и упрочить режим собственной диктатуры; с целью освятить установившийся в результате государственного переворота порядок вещей Луи Наполеон апеллирует к логике истории, настаивает на закономерном характере общественного развития. Раскольниковым, напротив, движет плебейский пафос «разрушения настоящего во имя лучшего» (6, 200); именно поэтому в своей теории он стремится освободиться от диктата объективной исторической закономерности, отодвигающей перспективу такого разрушения в неопределенное «будущее», пытается противопоставить ей логику чуда. Нападая на социалистов именно за их апелляцию к объективной исторической закономерности, Раскольников говорит: «Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться „всеобщего счастья“. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль,

¹¹ Там же.

¹² Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908. С. 146.

¹³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 177.

в ожидании „всеобщего счастья“. „Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца“. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу...» (6, 211. Разрядка моя. Б. Т.). В этих словах нравственно-психологические предпосылки раскольниковской философии истории, его, говоря словами В. И. Ленина, «стремление (хотение)».

Было бы слишком поспешным истолковывать приведенные наблюдения в том смысле, что на место доктрины Наполеона III как «прототип образа идеи» Раскольникова более оправданно поставить романтическую концепцию истории Т. Карлейля. И не только потому, что свои серьезные различия найдутся и в этом случае. ¹⁴ И даже не потому, что в центре внимания Достоевского в романе, как мы знаем, стоит в конце концов не философско-историческая основа идеи героя, а ее морально-правовые аспекты (об этом разговор еще впереди). Нет, дело в самом характере творческого метода писателя — принципе взаимоотношений «образа идеи» и идей-прототипов, о чем уже шла речь. И в особом внимании писателя к тому, что Бахтин назвал «сферой жизни идеи» (идеи не только в романном, но и в реальном мире): «Идея — как ее видел художник Достоевский — это не субъективно-индивидуально-психологическое образование с „постоянным местопребыванием“ в голове человека (...), сфера ее бытия не индивидуальное сознание, а диалогическое общение между сознаниями. Идея это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний». ¹⁵

Теория героя «Преступления и наказания», повторим это еще раз, не кония, не слепок с того или иного известного прототипа — будь то концепция Т. Карлейля или доктрина Наполеона III, но «образ идеи», «художественное бытие» идеи, живущей в реальной действительности. Дело не в том, что Достоевский прочитал изложение данной идеи в той или иной книге того или иного автора, а в том, что он услышал, как живет эта идея в своей эпохе.

Если, может быть, и целесообразно сделать «рокировку» и поставить Карлейля как родоначальника идеи об исключительной роли «великих людей», посланных в мир Провидением, на первое место, то ни в коем случае не отбрасывая и Наполеона III. Ибо их философско-исторические построения связаны между собой как

¹⁴ Скажем, если у Раскольникова «необыкновенные» «должны, по природе своей, быть непременно преступниками», «все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям» (6, 200. Разрядка моя. Б. Т.), то у Карлейля — «для всех нас тяжело вмешиваться в дело ниспровержения установленных порядков, в дело разрушения; для великого же человека, который еще более человек, чем мы, и вдвое тяжелее того» (Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. С. 220). Ср. также о Дж. Ноксе: «Мятеж не был его стихией, и то, что ему пришлось так много поработать в этом отношении, представляет трагическую особенность его жизни» (там же. С. 169).

¹⁵ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 100.

разные проявления одной и той же исходной идеи. Огрубляя, можно сказать, что в случае «Истории Юлия Цезаря» мы сталкиваемся с известным по творчеству Достоевского явлением «высокой» идеи, попавшей на «улицу». Сама сложившаяся в реальной действительности ситуация как бы обнаруживала «диапазон возможностей», намечала перспективы развития и трансформации идеи, художественно исследуемой автором «Преступления и наказания».

Без учета этого становится совершенно непонятным, почему прототипом (одним из прототипов) идеи героя русского романа Родиона Раскольникова становится у Достоевского философско-историческая и этическая доктрина французского императора Луи Наполеона — автора «Истории Юлия Цезаря», которая была практически единодушно негативно встречена русской общественной мыслью. Но если, с другой стороны, учесть, что в это же время (с середины 1850-х гг.) романтическая концепция «героической личности» Т. Карлейля, напротив, была исключительно популярна в России,¹⁶ то внимание Достоевского к трактату Луи Наполеона приобретает новое значение.

Стоит отметить, что и в романе, в эпизоде обсуждения у Порфирия Петровича статьи Раскольникова, впервые данная крупным планом, «идея» сразу же разворачивается Достоевским в ее возможностях (начинает «жить»). Автор «нигде не излагает этой статьи в монологической форме», — замечает Бахтин.¹⁷ Провоцируя героя на откровение, Порфирий предлагает свое «понимание» его идеи, намеренно дегероизируя и опошляя ее.¹⁸ Раскольников «разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть (...), — читаем в романе. — Он решился принять вызов» (6, 199). Герой строит изложение своих взглядов как в о з р а ж е н и е на «усиленное и умывленное искажение своей идеи» (там же), как бы отталкиваясь от тех возможностей, которые актуализирует в его идее Порфирий, пытаясь преодолеть их (другое дело, что это ему не вполне удается). «В результате, — резюмирует Бахтин, — идея Раскольникова появляется перед нами в интериндивидуальной зоне напряженной работы нескольких индивидуальных сознаний, причем теоретическая сторона идеи неразрывно сочетается с последними жизненными позициями участников диалога».¹⁹

Последнее замечание также представляется крайне важным. «Не идея сама по себе является „героиней произведений Достоевского“, — подчеркивает Бахтин, — (...) а человек идеи».²⁰ Чем

¹⁶ В частности, знакомство с циклом лекций Карлейля «Герои и героическое в истории», опубликованным в 1855—1856 гг. в «Современнике», сыграло «немаловажную роль в укреплении религиозного культа героев у Некрасова» (Лебедев Ю. В. О некоторых этических истоках поэзии Некрасова // Ф. М. Достоевский. Н. А. Некрасов. Л., 1974. С. 136).

¹⁷ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 101.

¹⁸ Поразительно, что в книге В. В. Ермилова «Ф. М. Достоевский» (М., 1956. С. 162) как выражение квинтэссенции теории Раскольникова цитируется «интерпретация»... Порфирия Петровича.

¹⁹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 101—102.

²⁰ Там же. С. 97.

определяется содержательная сторона «художественного бытия» идеи? Писатель вовсе не разворачивает в романном мире, как иногда понимают, некие ее отвлеченные «возможности»; он художественно исследует те метаморфозы, которые совершаются с известной идеей на новой социально-политической, психологической, даже национальной почве. Его Раскольников — русский герой, рожденный русской жизнью, и сама идея его если и не может быть названа русской в своей первооснове, тем не менее представляет собой русский вариант некоего общеевропейского «архетипа». Ибо в конечном счете теория Раскольникова не только продолжает традиции европейской мысли, но и полемизирует с ними. (Показательно в этом отношении, что Раскольников пишет свою статью, как он сам говорит, «по поводу одной книги».) Причем наибольшей остроты, что важно подчеркнуть, полемика достигает в морально-правовой сфере.

Парадоксально, но именно здесь исследователи и обнаруживали главный пункт близости идей Раскольникова и Наполеона III: в утверждении особых, исключительных прав «необыкновенных» личностей на их историческом поприще, в первую очередь — права на кровопролитие. С этим трудно согласиться. И не столько потому, что автор «Истории Юлия Цезаря» не рискует открыто настаивать на таком праве, а лишь подразумевает его, растворяя в общем требовании неограниченных прав для «великих»; не столько поэтому, а по существу.

В чем суть идеи Наполеона III, взятой в ее этическом и правовом аспектах? В утверждении не п о д с у д н о с т и «великих» законам и нормам общечеловеческой морали, в требовании судить их (а точнее: о них) в иной логике и по иным законам. И, с другой стороны, в обязанности народов послушно следовать по пути, начертанному «великими». «Что может быть ошибочнее непризнания превосходства этих привилегированных существ, которые от времени до времени появляются в истории, как светлые маяки, рассеивающие мрак своего времени и освещающие будущее? (...) Счастливы народы, понимающие их и следующие за ними! Горе тем, которые не признают их и противодействуют им! Они поступают как евреи, они распинают Мессию; они слепы и преступны: слепы — потому что не видят бессилия своих стараний приостановить окончательную победу добра; преступны — потому что замедляют прогресс, препятствуя скорому и плодотворному его осуществлению» («Предисловие»).

Наполеон III фетишизирует исторический прогресс и делает этот фетиш единственным критерием оценки добра и зла в сфере исторической деятельности. «Необыкновенная» личность оказывается в его доктрине тождественна историческому прогрессу. А вся ответственность за «издержки» так истолкованного «прогресса» перекладывается им на «слепые» и «преступные» народы.

Т. Карлейль тоже говорит и о необходимости повиновения «великим», и об эпохах «всеобщей слепоты» народов, но в его концепции нет такой жесткой категоричности. Там, где Луи Наполеон

усматривает злую волю и преступление народов и настаивает на возмездии, Карлейль видит одно из трагических противоречий общественного бытия; в его концепции неповиновение «великим» включает возмездие уже само в себе: Карлейль пишет о его «фатальной гибельности» для человечества.

В основе своей взгляды Наполеона III и Т. Карлейля по этому вопросу едины. Но в концепции Карлейля, автора не только «Героев и героического в истории», но и «Французской революции», разделение исторических функций между «великими» и массой все-таки не является абсолютным. «Нужен не только герой, но и мир, достойный его, который не представлял бы одной сплошной массы слуг, в противном случае герой пройдет почти бесследно для мира», — замечает английский мыслитель.²¹ С другой стороны, у Карлейля оказываются возможны такие характеристики Наполеона, героя-вождя, высшего героического типа — по его собственной классификации, «нашего последнего великого человека»: «какая-то чудовищная помесь героя с шарлатаном».²²

Заявленное, но не проведенное последовательно в концепции Т. Карлейля разделение человечества «на два скопища — овец и козлищ, правящих и управляемых» (Ф. Энгельс) в доктрине Луи Наполеона доведено до своего возможного предела: народы здесь, по существу, изгнаны из сферы исторического действия, прерогатива которого, санкционированная именем Провидения, принадлежит исключительно «необыкновенным» личностям; всякое вторжение народов в сферу истории, всякая попытка масс конкурировать с «великими» за право участия в историческом творчестве расценивается Наполеоном III как вопиющее преступление против воли Провидения. Так, преследуя откровенно политические цели, Луи Наполеон приводит романтический индивидуалистический культ героев Т. Карлейля к его наиболее реакционному, цезаристскому выражению.

В теории Раскольникова рассматриваемый вопрос трактуется существенно иначе, чем у Наполеона III или Т. Карлейля. Гораздо парадоксальнее. Так, говоря о прав «необыкновенных» на преступление, он замечает: «Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо (! — Б. Т.), исполняет консервативное свое назначение. (...) Одним словом, у меня все равносильное право и мое, и законничает Раскольников, — и — vive la guerre éternelle...» (6, 200—201. Разрядка моя. — Б. Т.).

Вот это ново! Это никак не «бессмысленное противодействие («великим». — Б. Т.) со стороны недостойных» у Т. Карлейля, но особенно остро это противоречит пафосу и политическому смыслу доктрины Луи Наполеона. Как «тревожиться много нечего»? как «совершенно справедливо»? как «равносильное право»? — когда

²¹ Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. С. 233.

²² Там же. С. 255.

именно в этом автор «Истории Юлия Цезаря» и видит вопиющие «слепоту» и «преступление» народов. И лозунга «Vive la guerre éternelle!» не только нет, но и быть не может в трактате венценосного историка. И это так понятно. Уже первые читатели видели, что «„Жизнь Цезаря“, изданная Наполеоном, это — в некотором роде самоозащитное царствующего автора».²³ Повторим: парализовать всякое сопротивление установленному порядку вещей — вот политическая цель автора «Истории Юлия Цезаря». И здесь позиции Наполеона III и Раскольникова оказываются прямо противоположными.

Сказанному не противоречит утверждение Раскольникова о том, что «первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них униженного» (6, 200. Разрядка моя. — Б. Т.). На первый взгляд, раскольниковское «обязаны быть послушными» совпадает и с буквой и с духом доктрины Наполеона III. Но совпадение это только внешнее. У Раскольникова «обыкновенные» «любят быть послушными» и «обязаны быть послушными» — освященному преданием и традицией порядку вещей: «доблестно» проливать свою кровь, защищая «древний» закон, «свято чтимый обществом и от отцов перешедший» (там же), т. е. как раз обязаны противодействовать «необыкновенным» в их стремлении дать обществу «новый закон». При таком повороте становится невозможной сама наполеоновская постановка вопроса о неподсудности «необыкновенных» законам общечеловеческой морали, об их общепризнанном (юридическом, официальном) праве на кровопролитие и разрушение. Замечательно, что в концепции Раскольникова «все (...) законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники...» (6, 199—200. Разрядка моя. — Б. Т.). Пафос доктрины Наполеона III прямо противоположен: «преступны» противодействующие «необыкновенным» народы.

Не укладывается раскольниковское решение вопроса и в концепцию Т. Карлейля. Парадоксально, но в утверждении «равносильного права» масс на сопротивление «великим» Раскольников оказывается какой-то стороной близок такому оппоненту Карлейля, как А. И. Герцен (хотя в целом они говорят о разных, может быть, даже противоположных вещах). Возражая против поэтизации Карлейлем «таланта, необходимого всем нациям, всем существам и беспощадно требуемого от них всех под опасением наказаний, — таланта повинения» (разрядка Карлейля. — Б. Т.),²⁴ Герцен писал в личном письме английскому мыслителю

²³ Голос. 1865. 23 февр. № 54.

²⁴ Герцен А. И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. 7. С. 508.

лю: «... „талант повиновения“ — (...) это очень смутно и требует большей определительности. (...) Талант повиноваться в согласии с нашей совестью — добродетель. Но талант борьбы, который требует, чтоб мы не повиновались против нашей совести, — тоже добродетель!» (Разрядка Герцена. — Б. Т.).²⁵

И тем не менее Раскольников все-таки сам говорит об особом праве «необыкновенных» на кровопролитие; больше того, это — центральный пункт его теории. Не смыкается ли он здесь, поверх всех частных и нюансов, в главном, с цезаристскими идеями типа доктрины Наполеона III? Нет. Вслушаемся: Раскольников сам оговаривает своеобразие своей позиции в этом вопросе: «Я просто-запросто намекнул, что „необыкновенный“ человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если...» и т. д. (6, 199. Разрядка моя. — Б. Т.). На это остро реагируют Разумихин и Порфирий: «... что действительно оригинально во всем этом, — и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, — говорит Разумихин, — это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь. (...) В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести, это... это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...»

— Совершенно справедливо, страшнее-с, — отозвался Порфирий» (6, 202—203. Разрядка моя. — Б. Т.).

Сказанное очень известно. Но нам сейчас важно отметить, что этот центральный пункт в теории героя, квинтэссенция его идеи в трактате Луи Наполеона не находит себе аналога, а в формулировке самого Раскольникова даже как бы противопоставляется наполеоновскому решению вопроса: «то есть не официальное право, а...». Таким образом, раскольниковская моральная диалектика, сопрягающая «преступление» и «совесть» («необыкновенные», с одной стороны, «преступники» — с другой имеют «право разрешить своей совести перешагнуть»), оказывается гораздо сложнее, парадоксальнее, противоречивее, чем довольно плоское построение Наполеона III, для которого «историческое», являющееся прерогативой великих, есть безусловно и сугубо нравственное, а все без исключения их деяния — однозначно «благороднейшие дела».

Что же касается Т. Карлейля, то, поскольку он так же, как в гениальность «великих», свято верит в «талант повиновения» народов («Мне весело видеть, что никогда никакой скептицизм, никакая всеобщая пошлость, ложь и сухость не могут искоренить из сердца человека этого благородного, врожденного в человеке почтения великих людей и преданности им!»²⁶), момент насилия в действиях «великих», их право на насилие (в том числе и на кровопролитие) не получает в его концепции специаль-

ной разработки. Но мы не можем удержаться от того, чтобы не процитировать в этой связи один любопытный пассаж из 2-й лекции Т. Карлейля «Герой как пророк. Магомет»: «Много говорилось о распространении Магометом своей религии с мечом в руке. (...) Действительно, меч, но при каких обстоятельствах обнажаете вы свой меч! Всякое новое мнение, при своем возникновении, представляет собственно меньшинство одного. В голове одного только человека — вот где оно зарождается вначале. Один только человек во всем мире исповедует его; таким образом, один человек выступает против всех людей. Если он возьмет меч и станет с мечом в руке проповедовать свою мысль, то...». Оборвем цитату. Кажется, вот сейчас прозвучит сакраментальное: «... то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь — смотря впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте» (6, 200). Но нет. Карлейль круто сворачивает в сторону: «Если он возьмет меч и станет с мечом в руках проповедовать свою мысль, то — это мало поможет ему. Вы должны сначала обрести себе меч!»²⁷ Выражено несколько смутно, но в конечном счете понятно: необходимо, чтобы «герой» был «узнан», чтобы (пусть вначале в близком кругу) возникло восторженное удивление, переросшее затем в поклонение и повиновение; только при этом условии его меч станет «мечом» его «идеи» и решит дело. В противном случае, считает Карлейль, «это мало поможет ему».

Замечательное расхождение с теорией Раскольникова в самой сердцевине проблемы! Но существу, перед нами в частном выражении узловая мысль концепции Т. Карлейля: «Нужен не только герой, но и мир, достойный его». По сравнению с этим credo английского мыслителя «идея» героя Достоевского, который всё берет на себя одного и изначально утверждает «равносильное право» всего остального мира на противодействие ему и его «идее», представляется в несравненно большей степени индивидуалистической и — героической, чем индивидуалистический культ героев Т. Карлейля.²⁸

С этой точки зрения показательно, что даже там, где в теории Раскольникова возникает столь значимый для Карлейля мотив «поклонения» народов, «масс», он интерпретируется существенно в ином ключе. «... масса никогда почти не признает за ними этого права, — развивает Раскольников свою идею о праве «необыкновенных» на преступление, казнит их и вешает (...), с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее)», т. е. принимает и проводит в жизнь их «начало и систему», их «новый закон». «Первый разряд, —

²⁵ Там же. С. 509.

²⁶ Карлейль Т. О героях и героическом в истории. С. 105 (2-й паг.).

²⁷ Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. С. 79.

²⁸ Напомним, что речь идет лишь об одной из «проекции» раскольниковской идеи — как сам герой излагает ее Порфирию Петровичу.

продолжает Раскольников, — всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего» (6, 200. Разрядка моя. — Б. Т.).

Для всей раскольниковской философии истории, его концепции исторического прогресса это место одновременно и ключевое и наиболее противоречивое. В конечном счете Раскольников как будто и совпадает с Карлейлем, также говоря о «поклонении» народов как о необходимом и естественном условии исторического прогресса; однако при ближайшем рассмотрении его идея опять оказывается несравнимо более героической и — трагической: «поклонение» народов оплачивается ценой обязательной гибели «героя», что уже никак не предполагается Карлейлем. Двухединая формула английского философа: «Нужен не только герой, но и мир достойный его» — оказывается в теории Родиона Раскольникова трагически разорванной. Здесь герой Достоевского выходит к утверждению трагических противоречий исторического развития человечества.

На таком фоне едва ли не курьезом выглядит вербальное совпадение этого места раскольниковской теории с теми строками «Предисловия» к «Истории Юлия Цезаря», в которых Наполеон III пытается разрешить не разрешимую для его доктрины проблему: «По какому знамени узнавать величие человека?». Ответ французского императора таков: «По владычеству его идей, как скоро его начала и система побеждают, несмотря на его смерть и поражение». В философско-исторической концепции Раскольникова это действительно так, но в приложении к доктрине Луи Наполеона с ее требованием безусловного подчинения всех воле «гения» ответ этот более чем неудовлетворителен. В лучшем случае это явная непоследовательность, в худшем — грубый камуфляж.²⁹

Замечательно, как в романе Порфирий Петрович моментально сбивает героя с его трагической высоты, переводя одним вопросом его теорию в совершенно иной план, близкий доктрине Луи Наполеона: «Но позвольте, — обращаюсь к давешнему, — ведь их не всегда же казнят; иные напротив. . .

— Торжествуют при жизни? О да, иные достигают и при жизни, и тогда. . .

— Сами начинают казнить?

— Если надо и, знаете, даже большею частью. Вообще замечание ваше остроумно» (6, 201).

Поставленная в романе «на грань диалогически скрестившихся сознаний»,³⁰ «живя в непрерывном диалогическом взаимодействии с другими полноценными идеями — идеями Сони, Порфирия, Свидригайлова и других»,³¹ идея Родиона Раскольникова находится, об-

²⁹ В аспекте генетического анализа, однако, заслуживает внимания, что этот побочный и неорганичный в системе Наполеона III тезис получает новую жизнь и новое, ключевое значение в теории героя «Преступления и наказания».

³⁰ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 104.

³¹ Там же. С. 98.

разно говоря, в положении «неустойчивого равновесия», постоянно «балансируя» между различными, зачастую полярными, обнаруживающимися в ней возможностями. Все эти метаморфозы идеи не остаются внеположными сознанию Раскольникова, остро и болезненно переживаются героем, вызывая его на новые решения, и т. д. Идея действительно живет в произведении напряженной «событийной художественной жизнью», организуя один из глубинных сюжетных планов полифонического романа Достоевского. И при так понятой постановке «образа идеи» в художественном мире его реальным прототипом может явиться только живущая в своей эпохе идея.

«Достоевский обладал гениальным даром слышать диалог своей эпохи или, точнее, слышать свою эпоху как великий диалог, — констатирует Бахтин, — улавливать в ней не только отдельные голоса, но прежде всего именно диалогические отношения между голосами, их диалогическое взаимодействие».³² Приступить к рассмотрению идейного многоголосия эпохи Достоевского и его отражения в структуре полифонического романа писателя, конкретизируя принципиальные положения М. М. Бахтина о «прототипах образа идеи» на материале «Преступления и наказания», — в этом видел автор задачу настоящей статьи.

³² Там же. С. 103.